

Пролог

Первый раз я сошёл с ума в десять лет, в тот день, когда погиб мой дед.

Это был день, наполненный бесконечным счастьем, — собрались все — дальние и близкие родственники. Это был день рождения моей бабушки. Всё было очень здорово.

Я вбежал в дом, подпрыгивая от радости. Ударил грохот, и я увидел то, что глаза сразу же отказались видеть, меня опрокинул ужас, и в мою жизнь вошёл чёрный свет и все оттенки чёрного цвета.

Всего двумя вспышками, кусками воспоминаний, впечатались в меня первые секунды и случайные обрывки тех дней. Я помню страшный крик мамы: «Дайте же кто-нибудь полотенце!», невероятную беготню и общий вой, и тонкие, улыбающиеся губы соседа. Беззвучную дорогу в Киев на второй день, скорбные и ввалившиеся от бессонницы глаза тёти. И ещё помню ветер, который поднялся в день похорон, красный ковёр на грузовике и дорогу на кладбище, которая до тех пор была для меня любимой дорогой к работе деда. И ещё помню назойливого рыжего кота, внезапно появившегося на кладбище, про которого сзади почему-то шептались, что «це його душа, ты дывись, очи яки сини», но потом — потом я «выключился» на два месяца.

Мою голову заполнила спасительная смола. Провал памяти. Пустота.

До августа.

О чём могу рассказать со всей определённостью, так это про все оттенки чёрного, которые по-особому заискрились в тот день, когда соседская прабабушка, вернее, мама закадычной подружки моей бабушки, не выдержала уговоров и согласилась «одвести дытыну од престриту». Как потом выяснилось, она не поддавалась никаким уговорам, говорят, «зарок дала», и никакие слова на неё не действовали до дня, пока ей, наконец, не показали мою полуседую голову.

Накануне ночью прошел благодатный дождь. Поздним утром вывели меня из дома, наверное, бабушка, с нами был кто-то ещё, но я их не помню; мы вышли из дубовых ворот, на которых так здорово я вратарствовал два месяца тому назад, и повернули к Витебским.

Идти было недалеко. За углом брусчатая дорога поворачивала направо, и напротив видно было чёрную крышу Витебских. С бабушкой Ирой Витебской моя бабушка дружила. Чёрное солнце слепило глаза, редкие чёрные облака пушинками ползли по пронзительно-чёрному небу. Не было никаких других красок. Вообще не было. Последние дождевые капли антрацитными бриллиантами посверкивали на сетке, ограждавшей соседский участок. Стукнула защёлка калитки Витебских, и я прошел через двор на летнюю веранду, наполовину закрытую виноградом. И на фоне роскошных виноградных листьев, как будто вырезанных умелыми маникюрными ножничками из проявленных негатив-

вов, лучились ярко-голубые глаза. Голубые глаза на чёрном бархате.

— Подойди, дитя, — сказала старушка с голубыми глазами.

Это была *старая* Витебская. За всю её долгую, натруженную и горестную жизнь никто из её семьи ни разу не слышал от неё и слова по-русски. Она говорила без малейшего малороссийского акцента, чем привела в полнейший шок всех взрослых, её детей и внуков, мою бабушку и родных, теньями сгрудившихся где-то за спиной.

— Подойди, Гриша, — повторила она. Я подошёл поближе.

Она взяла меня за руку, и тепло её высохшей руки согрело меня. Я сел на табуретку и увидел изумрудно-лимонадный луч, пробивавшийся сквозь густую виноградную листву на потрескавшуюся клеёнку, покрывавшую столик.

— Подождите меня, — сказала она и, чуть помедлив, вышла во двор.

Я засмотрелся на лимонад солнечного луча, взрослые о чём-то приглушенно шептались. Старая Витебская сходила на задний двор, достала два горячих яйца, снесённых (потом рассказали) чёрными курицами, и принесла их, бережно вытирая припасенным кухонным полотенцем. Бабушка Ира принесла глубокую фаянсовую тарелку, поставила на столик и отошла назад. Старая Витебская положила одно яйцо в кружку, взяла в руки второе яйцо, положила мне руку на плечо и встала за моей спиной, тихонько что-то приговаривая.

Горячее яйцо всей своей шершавостью медленно покатилося по моей голове, спиралью, от макушки до уровня ушей, на лоб и на затылок, опять вверх, и голос звучал издалека, наполненный эхом.

Минута за минутой, сказочка за сказочкой, и в той гулкой тишине, сквозь тихие приговоры и бормотание, стали проявляться Цвета. Сначала изумрудный луч стал расширяться, потом вспыхнули всеми цветами буйного жёлтого, зелёного, искристого света виноградные лозы, разукрасилась веранда, чёрно-медовый шмель загудел в малиновых мальвах у окна, потом рыжий кот с синими глазами деловито пробежал через залитый ярким золотом двор. Курицы — чёрные, белые и рыжие — копошились в пыли под навесом, на самой границе солнца и тени. Потом вышел нагло-разноцветный петух с переливавшимся изумрудно-синим хвостом, захлопал крыльями и, устроившись на заборе, возвестил полдень.

Я обернулся. Всё закончилось. Всё было хорошо.

Сзади тихо плакали женщины, мужчины молча стояли с бледными, просветлёнными лицами. Закусив губу, моя бабушка улыбалась мне. Её карие глаза светились, и мелкие слёзы бежали по лицу, потерявшему привычную смуглость. Чёрный платок сполз с её головы, упал на спинку стула, а она стояла, обессилено опершись рукой на подоконник, и смотрела, смотрела на меня.

Ни слова не говоря, старая Витебская разбила над тарелкой яйцо, которое с самого начала отложила в эмалированную синюю кружку. В прозрачности белка уютно расположился кружляк желтка, белок тихонько

облизывал края тарелки, которую медленно поворачивала старушка. Она взяла то, второе яйцо, которое катала по моей голове, ловко надколола ножом хрустевшую скорлупу и вылила содержимое в тарелку.

Сзади ахнули.

В белке всеми цветами радуги засверкали блёстки, как будто кто-то потрудился разбить зеркало на мелкие-мелкие осколки и высыпал их в тарелку. Эти блёстки были круглые, как те круглые чешуйки, которые, говорят, образуются в прозрачном янтаре после обработки ультразвуком. Вот такие зеркала и светились в солнечном луче, своим видом заставляя занеметь собравшихся.

— Ступай, Гришенька, Бог помогай, — сказала старая Витебская.

Её иссушённые маленькие руки, коричневые, в натруженных морщинах и жилах непосильной работы, легли ласково на мой лоб. Она поцеловала меня, улыбнулась, взяла тарелку и ушла за дом.

Мы шли домой.

Было жарко и дремотно.

За белоснежно выбеленными домами, над серыми шиферными крышами, над гудящими пчёлами садами вдали плыли белоснежные полуденные облака на синем-синем небе.

Дай мне, Боже, сил всё вспомнить.

СРУЛИКОВА МЕДОВУХА

- Не выйду за него!
- Выйдешь.
- Не буду!
- Ещё как будешь!
- Так нельзя, папочка!
- Ещё как можно!

Тоня, чернобровая красавица шестнадцати лет, с волосами воронова крыла, топнула ножкой, только в сорок ниток коралловое ожерелье подпрыгнуло на высокой груди, туго обтянутой вышитой сорочкой.

— Папа!

— Молчи, глупая! — старый Сергей уже начинал сердиться на свою любимицу. — Иван хороший парень, у его отца двадцать кóней, хата уже стоит, бляхой крытая, два номера земли старый Дзяшковский пообещал дать, что тебе ещё надо, доча?!

— Папочка, родненький, за что? — слезы брызнули из глаз Тони. — Папочка, он, он же... Он же страшный, он смердит! — она зарыдала в голос. — Разве ж так можно? Меня же Срулихой люди до смерти будут называть!..

Старый Сергей Завальский слегка смутился.

Про эту особенность малороссийской жизни он в данном случае постарался забыть, хотя всем в Украй-

не известно, что если уж приклеится с прадедов к сопливому мальчишке или девчонке самое несуразное прозвище, так и весь последующий их род, до седьмого колена, будет зваться именно так и не иначе. И фамилию позабудут, и по-другому никто называть не будет, только лишь на каких-нибудь важных собраниях, когда, к примеру, волостной староста пожалует или писарь из управы, землемер.

Хотя нет, землемер не в счёт — землемер, он хоть и крайне важный в сельской жизни господин, но в силу особенностей своей профессии человек всегда сложно пьющий, поэтому имел весьма своеобразный авторитет — ходячий и лежащий. И если приходил землемер на обмер земельных номеров, то авторитет Андрея Дзюня был выше его фуражки, а после обмера и застолья, когда щедрый и многомудрый хозяин радостно увозил тело землемера в соседнюю Калиновку, то и авторитет, можно сказать, лежал рядом на подводе.

Старый Сергей, которому на самом деле едва ли было больше сорока, дюжий, жилистый мужик, настоящий, крепкий хозяин, дочку Тоню любил всем сердцем. И теперь, когда его красавица плакала навзрыд, восставая против его воли, два чувства боролись в его душе — лютая ярость при виде такого неслыханного непослушания и уверенность в правоте своей любви. Ведь хотел он снова восстановить былую семейную честь и доказать, что, хотя и попрекала краковская родня быдлостью, холопской жизнью, не забыл Сергей Завальский чести, и выдаст он свою дочку за непременно знатного, непременно богатого жениха.

И тогда пусть утрется все недоброжелатели при виде новой жизни его семейства!

А Срулики, ой, нет, как его, как же их?.. Беда, как же их?.. А! А Дзяшковский Иван был самой лучшей партией в Торжевке. Да и, по правде сказать, едва ли не единственным неженатым из «богатых».

* * *

В те времена, году где-то в 1915-м, в Торжевке, что к западу от Киева, жило больше двух дюжин разросшихся обширных фамилий и новоприбывших семей. Дзяшковские относились к стародавнему, но незнатному шляхетскому роду. Они жили обильно, держали бойню, колбасный цех и выгодно продавали в Киеве колбасы, а ещё было у них двадцать коней; своих коров они, похваляясь перед соседями, не считали, да и старый Томаш Дзяшковский помнил, какого роду-племени был Сергей Завальский, не то что другие местные голодранцы, позабывшие годность шляхетскую.

Домá Дзяшковских, одни из лучших в округе, стояли особняком на краю Торжевки, у высокого берега речки Толоки, где тенистый сад наклонялся над тихими струями. Весной сад пенился-бушевал белым кружевом цветения так, что ошалевшие от нектара пчёлы спяну тыкались в лица прохожих. Летом, чтобы под тяжестью налитых яблок не разодрались стволы, приходилось городить по нескольку кольев под каждую в дугу согнутую ветвь. А перед Ильиным днём переспелая «денешта» с бульканьем падала прямо в воду и вы-

плывала на песчаную отмель, где её с восторгом находила голопузая ребятня. И сады были у Дзяшковских, и бойня, и мыловарня, и землёй удачно спекулировал Томаш, и на церковь давал — всё делал, чтобы сельское общество признало в нём своего.

Однако было одно обстоятельство, одна, можно сказать, беда, старинная, позабытая напрочь тайна, корни которой уходили в незапамятную старину — Дзяшковские величались Сруликами.

Что ни делал Томаш, что ни делал его отец, и дед Томаша, и прадед Дзяшковский, но с давних времён любой Дзяшковский был для сельчан прежде всего Сруликом. И это проклятие, казалось, побеждённое, довлело над родом.

— А это чей такой важный сад? — спрашивал, к примеру, заезжий господин, искавший по делу дом Дзяшковских.

— Этот? Это садок старого Срулика! — отвечали торжевцы, нимало не побеспокоившись припомнить фамилию хозяина. И несколько озадаченный, господин, даже если и уступал напористому и радушному гостеприимству самого Дзяшковского, всё равно, к крайней той досаде, иногда не к месту посмеивался и хихикал в пышные усы.

И надо ж такому было случиться несчастью, что поперёк всему фамильному великолепию главный наследник всего добра — всех садов, огородов и земельных «номеров», всех лавок, коптилен и скотины, мыловарни и «ковбасни» — старший сын Иван оказался к совершеннолетию полным подтверждением родового прозвища.